

## Н. АБРАМОВИЧ

### Лирика З. Н. Гиппиус

Я ищу Тебя, чтоб жила душа моя.

*Августин*

Я не знаю, где иначе искать жизни, как  
не в смерти.

*Св. Тереза*

#### I

«Белая одежда» — этим стихотворением заканчивается книга г-жи Гиппиус, и в строках его бледно просвечивает чистый образ Христа... Просвечивает бледно, ибо три четверти книги поэты отданы тому, что можно назвать смертью в жизни, — тупой, холодной тяжести, слепой силе, в тисках которой бьется живая тоскующая душа, и еще мимолетности проходящих мгновений.

Чрезвычайно характерным мне кажется одно место в предисловии автора к своей книге («Необходимое о стихах»), где говорится о разорванности, об отдельности минут жизни, отраженных в субъективном творчестве. Автор считает свои строки выражением лишь данной минуты и об ощущениях нескольких различных мгновений говорит: «Они разделены временем, жизнью...» Здесь поэт глубоко несправедлив к самому себе. Будь это замечание верно, — вся глубина содержания творчества многих великих лириков свелась бы к нулю. Ибо что могло бы из книг этих лириков войти в область сокровищницы человеческого Духа, если бы каждое мгновение, своеобразно пережитое ими и своеобразно отраженное в творчестве, было чем-то совершенно особым, замкнутым в себе, без единой нити соединения между предыдущей и последующей минутой их жизни?.. К тайне

и глубине их творчества ключ тогда был бы безвозвратно потеряян. Точно так же ложью пришлось бы признать и то, что лирик обозначает словом «искание», разумея под этим общую жизненную основу его творчества. Ибо искание необходимо предполагает цельность всей разорванной на отдельные мгновения жизни, а следовательно, внутреннюю, быть может, смутно видимую, но безусловно существующую последовательность. Именно жизнь и именно течение времени соединяют отдельность всего пережитого, сливая в единое то коренное, то центральное, что непременно было в глубине каждой пережитой минуты. И в целом жизнь каждого чуткого и ищущего художника, а следовательно, и его творчество, *есть разрешение великой задачи его жизни.*

В наше время почти полного преобладания во внешнем творчестве ярко субъективных приемов именно этот род отражений и кажется наиболее верным путем к разрешению единичной, поставленной перед каждым отдельно, задачи. В том же предисловии разбираемой книги мы находим утверждение, что субъективное творчество есть особенность единственно нашего времени, когда переживания и «молитвы» каждого поэта выливаются слишком лично, слишком своеобразно, чтобы один молящийся мог понять другого и слить с его молитвой свою. Вникая в эту мысль, мы невольно создаем представления о каких-то замкнутых магическим кругом, обособленных и отъединенных душах людей нашего времени. Глаза их видят разное, слух воспринимает разное... То прекрасное, что волнует и мучает мою душу и зовет ее на бесконечный открытый путь, — видимо только мне, оно создано моей душой, которая есть уникам, нечто единое и неповторяемое в своей тонкой и таинственной своеобразности... И образы мои, которыми я передаю мой сад, мое небо, моего Христа, мое солнце, не будут видимы и не будут поняты никому... И, следовательно, молиться или, — что одно и то же, — творить, отражать мое мгновение, — можно только одному, уйдя в себя, закрывшись в глухом и полном одиночестве...

Так ли это?..

О, это — большой вопрос, который мы решать здесь не будем. Но интересно отметить еще одну странность в том же предисловии: утверждение, что в не наше, в другое время поэты молились вместе и молились за всех других — не поэтов, будучи понятыми и признанными, что, напр., Пушкин сливался в своей молитве, в своем творчестве со всеми живущими в его время, как сливается и с людьми поколений следующих...

Нужно ли понимать это в том смысле, что у Пушкина, в основе его могучей поэзии, не лежала, как первое и необходимое усло-

вие творчества, субъективность, подобная чернозему почвы, началу производительному и тайному? Если это не так, то придется признать, что в Пушкине-поэте было то нечто, что присуще единственно ему, что составляет тайну иного не человеческого творчества, будучи ростком от Божественного семени. И прежде, и теперь есть и всегда будет в каждом поэте то, что никогда не может быть до конца понято и прослежено мыслью читателя, в чем заключается связь живой человеческой души поэта с его строками. Ибо поэт никогда себя не договаривает, никогда не исчерпывает до дна своего чувства, никогда не дает совершенного в этом смысле образа, и то нечто, что именно и служит основой таинственного дара художественной интуиции, было, есть и всегда будет ограждено непереходимым кругом непознаваемости.

Этим устанавливается связь между поэтами нашего времени и прошлого — связь, которую г-жа Гиппиус разрывает, объясняя причины ненужности для нашего времени сборников лирической поэзии. Как и поэт, живший две тысячи лет тому назад, лирик современный, чуткий к правде, говорит о том лишь, о чем он может говорить, не насилуя себя... Мир он созерцает своими глазами, — и он рассказывает о том, что видит; впечатления, мысли и образы созданы его душой, — и он отражает свою единичную живую душу. Вот все, что я могу дать, — говорит он читающему его, — книгу моей жизни.

И, несмотря на замечания автора о разорванности, о полной отдельности ее стихотворений, отражающих мгновения, мы видим в них нечто единое, нечто цельное, сообщающее всей книге характер полнейшей своеобразности. Книгу «Собрание стихов» З. Н. Гиппиус кроме ее автора написать никто не мог. И то жизненно-прекрасное, то духовное и пленительное по своей внутренней чистоте, твердости и изяществу, что составляет содержание этой белой книжки, — неповторяемо.

## II

Когда перелистываешь и читаешь такую обильную живую и сложную, и сильной жизнью книгу, как стихотворения З. Н. Гиппиус, — центр внимания ежеминутно переносится от одного светлого и тихого откровения жизни к другому... Кажется, вот именно то, что может служить самым устойчивым, угловым камнем в построенной поэтом тихой, белой, задумчиво-молчаливой церкви. Но перевертываешь страницу — и снова видишь тайный и тихо озаренный просвет, настойчиво и властно зову-

щий... Так в сумерках в осеннем поредевшем саду бредешь из пустынной аллеи к неподвижному, отражающему серое небо пруду, к ограде, за которой лежит сливающееся с сумраком поле, — и к сильному, все нарастающему и точно давящему душу своей силой чувству жизни приливают новые и новые веяния, переполняя душу чем-то свежим, расширяющим и глубоким... Последнее впечатление будет впечатлением подавленности. Слишком сильна, слишком расширена и многообразна жизнь, она превышает наши силы, и сознание этого обилия, этой мощи ложится бременем на наши плечи... Таково впечатление живой природы, в которую мы входим лишь как малая частичка ее, созерцая только то, что лежит в пределах нашего ограниченного кругозора, видя опускающуюся вдали для наших глаз завесу неба... И впечатление книги стихов З. Н. Гиппиус своим многообразием подобно именно свежему ощущению природы. В ней, этой книге, не мертвые, пустые слова и строки, но сама жизнь, странно и сильно переживаемая. *Книга живая*, — и это первое, что о ней должно быть сказано. Над жизнью, отраженной в ней, лежит тихий сумеречный свет, тускло льющийся в окна погруженных в тьму комнат, сливающий в одну чашу неподвижные аллеи, наполняющий глубоким безмолвием внутренность маленькой строгой часовни, где мерцает лампада пред живущим в полусвете и тишине ликом Христа и чуть заметно движутся тени...

Да, поэзия Гиппиус — маленькая строгая часовня, безмолвная, сумеречная, в тишине которой чувствуется сосредоточенно-глубокая, немая и незримая жизнь в Боге... Но у дверей этой часовенки стоят березы, на камни ее ступеней ложатся тени ветвей, падают капли росы с листьев и по утрам в листве деревьев слышатся щебет, порханье и возня птиц... Это необходимо прибавить, потому что кроме живых стен живой часовенки, где человек с пытливым и отдающейся любовью взглядом на лик Христа и молится в тайном желтом сиянии свечей, есть для поэта еще утренняя синева неба, свежесть росных капель, движение теней и солнечного света, садовая глушь, жизнь природы...

Прежде чем я перейду к изложению субъективно понятой мной и смутно просвечивающей в книге поэта жизненной основы его, — Вере, — того, *в чем горит найденный им для своей жизни свет*, я несколько слов скажу о природе в книге З. Н. Гиппиус.

Мне кажется странным, что поэт, допускающий такую полную свободу формы произведений, словесной передачи, вместе с тем является таким строгим и сильным, да, именно — сильным мастером стиха. Рифмованное четверостишие автора «Свя-

той плоти» — так легко и непринужденно законченно и так полно в своем содержании, что образ и мысль поэта являются неразрывно и навсегда слитыми в их ритмованной певучей форме. То, что он говорит, не может быть уж иначе сказано, и три элемента художественного творчества лирика-стихотворца: 1) законченность, полнота мысли и образа; 2) легкость, чистота стиха и 3) наличность *своего* (я подчеркиваю это) слова особого индивидуального оттенка, цвета и запаха достигнуты здесь в совершенстве. Свобода формы и в то же время строгость в соблюдении всех ее условностей — как это совместить?.. Мне лично соблюдение законов ритма и рифмы при передаче неуловимо-легкого и тайного внутреннего кажется грубо-тяжелым и ненужным, чем-то вроде признания необходимости для легкого бестелесного существа одежды грубо-земной. Условность нашей узаконенной стихотворной речи часто является кандалами, которыми насиле отяготило хрупкие и нежные руки поэта... Небесно-легкое и воздушно-тайное, являющееся выражением откровений духа, требует такой же легкой и воздушной одежды. Должно быть признано возможным бесконечное расширение формы и разнообразие ритма, размера и сочетания слов. У З. Н. Гиппиус есть одно стихотворение («Круги»), в котором допущена вольная естественная форма словесной передачи, со своеобразным ритмом. Но, судя по этому единственному стихотворению, поэтессе наиболее близка именно узаконенная певучая стихотворная речь. Мысли и образу поэта свободно и легко в этой форме, и, стесненный ее условностями, автор дает нам отражения природы высокой художественной ценности. Он рисует то, в чем сказывается ему жизнь и характер известного пейзажа, и вносит этим в свой рисунок нечто живое, действительное, открывающее нашим глазам природу. Слово автора — простое, легкое и вместе с тем всегда образное, являющееся в цветной одежде и веющее запахами трав, воды, листьев, полевого ветра. В этом отношении самые характерные вещи в книге поэта: «Осень» и «Нить». «Осень» — это дающая бесконечность для созерцания, строго и тихо выдержанная картина. По мастерству это, вероятно, лучшая вещь в книге. Почти грубая первобытная наивность впечатлений жизни, земли сливается с той тишиной смерти, могильного упоения, которая веет покоем пустынных безвоздушных, безветренных, бесконечно открытых пространств...

Бестрепетно осень  
Пустыми очами  
Глядит меж стволами  
Задумчивых сосен,

Прямых, тонколистых  
Берез золотистых, —  
И нити, как Парка,  
Седой паутины  
Свивает и тянет  
По гроздьям рябины,  
И ласково манит  
В глубь сонного парка...  
Там сумрак, там сладость,  
Все осени внемлет,  
И тихая радость  
Мне душу объемлет.  
Приветствую смерть я  
С безумной отрадой  
И муки бессмертья  
Не надо, не надо...

.....

Покорный покою,  
Я сном под землею  
Усну бесконечным...

В сонете поэт описывает паутинную нить.

Весельем солнечным и тенью облита,  
Нить паутинная, упруга и чиста,  
Повисла в небесах, и дрожью незаметной  
Колеблет ветер нить, порвать пытаюсь тщетно:  
Она крепка, тонка, прозрачна и проста...  
Разрезана небес живая пустота  
Сверкающей чертой, струною многоцветной...

Какое мастерство описания!.. Что это — тщательная обработка и выделка формы или же присущая поэту непосредственная простота и цельность выражения?..

Я ограничиваю свой обзор книги г-жи Гиппиус. Я знаю, что мне не исчерпать всей разлитой в этой книге жизни, да я и не намеревался это делать... Я оставлю для себя еще многое, о чем говорить не образным, мертвым словом значило бы умерщвлять и уничтожать для себя живое и жизненно-прекрасное... Но я скажу еще несколько слов о стихотворениях, посвященных гнетущей силе смерти, не той смерти, которая есть тишина, упоение, но смерти в жизни, тупой, давящей, бессильящей и опускающей душу. Таких стихотворений много. Автор по-детски искренен... Он признается в своем бессилии, в своем ужасе, недоумении перед той темной, страшной силой, которая несомненно существует...

Моя душа во власти страха  
 И горькой жалости земной.  
 Напрасно я бегу от праха,  
 Я всюду с ним, и он со мной.  
 Мне в очи смотрит ночь нагая,  
 Унылая, как темный день.  
 Лишь тучи, низко набегая,  
 Дают ей мертвенную тень.  
 И ветер, встав на миг единый,  
 Дождем дохнул — и вмиг исчез.  
 Волокна серой паутины  
 Плывут и тянутся с небес.

.....  
 И в прахе душном, в дыме пыльном,  
 К последней гибели спеша,  
 Напрасно в ужасе бессильном  
 Оковы жизни рвет душа...

Прочтите «Глухота», «Сосны», «Уныние», «Пауки»... В жизни есть то страшное, что человек не может одолеть... Одоление есть. Ведь там, у каменных ступеней часовни, между стволами деревьев, вечером, в тихом сумраке стоит легкий и светлый Христос «в белой одежде»... Но человек — человек... И он не всегда одолевает...

Но Христу он молится. Он подошел к Нему так близко, как мог, и вина его отдаленности от Света лежит не на нем.

Иисус в одежде белой...  
 .....  
 Иисус детей надежда!  
 Прости, что я скорблю!  
 Темна моя одежда,  
 Но я Тебя люблю.

В бедное простое слово «люблю» сколько могло быть вложено!  
 В строках стихотворения «Другой христианин» мерцает светло и тайно тихая дорога к рассвету...

Отблески этого света рассыпаны по всей книге поэта.  
 Это и есть то интимное, основное, внутреннее, что выше называл я верой и найденным, горящим для жизни светочем. Попытка распространиться об этом была бы бесплодна. Яснее всяких определений живой образ поэта.

Одиночеству в книге З. Н. Гиппиус отдано несколько страниц. Чувство это сильно и глубоко выражено в стихотворениях «Соблазн», «Сонет» («Один я в келии неосвященной...»), «Тихое пламя»...

Музыка смерти — безнадежная, глубокая, все покоряющая.  
 Музыка смерти, опускающаяся с неба на землю, широко, мирно, траурно звучит в строках «Вечерней зари»:

Повеяло нездешнею прохладой  
 От медленной зари.  
 Ни счастья, ни радости не надо.  
 Гори, заря, гори...

Я повторяю еще раз: я не исчерпал и сотой доли всей жизни, разлитой в книге поэта. Книга его — белый молитвенный дом, тихий осенний сад в сумерках... Исчерпать книгу я не мог, и я не хотел бы это сделать.

